

Письма Пушкина

Письма Пушкина занимают значительное место в наследии, которое оставил поэт. Их значение для уяснения литературных взглядов и отношений Пушкина, для биографии и для характеристики его было оценено уже его современниками. Достаточно изучены и разъяснены они в этом плане исследователями и комментаторами. Но со стороны литературной и психологической они до сих пор остаются неисследованными и неистолкованными.

«Переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина», говорит уже Анненков¹. Сам поэт отводит ей целую строфу в своем послании «К моей чернильнице».

Оставь, оставь порой
Привычные затей —
И дактиль и хорей —
Для прозы почтовой.
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныние разлуки,
Всегдашние мечты,
Мои надежды, чувства
Без лести, без искусства
Бумаге передай.
Болтливостью небрежной
И ветренной и нежной
Их сердце утешай.

Поэт несомненно ценил свою переписку, оберегая как письма, писанные к нему, так и черновики собственных писем. Многие его письма были плодом значительной работы, иные даже возбуждают сомнения, письма ли это или литературные произведения; некоторые наверное рассчитаны были на распространение. С другой стороны, письма Пуш-

¹ «Материалы», 1855, стр. 83.

кина очень разнообразны. Разумеется, поэт настраивался соответственно обстановке и в тон своему корреспонденту, и сам был во власти различных чувств, имел различные намерения, не говоря уже о внешних обстоятельствах. Поэтому изучение писем Пушкина — дело сложное и тонкое, при котором необходимо учитывать все эти условия — иногда в такой конкретности, которая нам уже недоступна, а без этого мы рискуем сильно попасть впросак со своими толкованиями.

Уже Анненков дал верную, хотя и неполную оценку писем Пушкина. «Переписка Пушкина особенно драгоценна тем, что ставит, так сказать, читателя лицом к лицу с его мыслью и выказывает всю ее гибкость, оригинальность и блеск, ей свойственный. Эти качества сохраняет она даже и тогда, когда теряет достоинство непреложной истины или возбуждает сомнительный вопрос».

И в другом месте («Пушкин в Александровскую эпоху», 1874 г., стр. 306, сл.), он говорит, развивая эту оценку: «У ней есть и еще одно достоинство: она рисует нам самый образ Пушкина в изящном нравственно привлекательном виде. Это постоянно один и тот же блеск молодого, свежего, живого и замечательно основательного ума, проявляющийся в бесчисленных оттенках выражения».

Действие переписки на читателя неотразимо, какое бы мнение ни составил он заранее о характере ее автора: необычайная безыскусственная простота всех чувств, замечательная деликатность — смеем так выразиться — сердца, при оригинальности самых поворотов мысли и всех суждений, приковывают читателя к этой переписке невольно и выносят перед ним облик Пушкина в самом благоприятном свете».

Известен, конечно, всем восторженный отзыв Тургенева о письмах Пушкина («Вестник Европы», 1878 г., I, стр. 8): «В этих письмах так и бьет струю светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямота и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красота выражения».

По поводу издания Тургеневым писем Пушкина к жене, Анненков писал («Стасюлевич и его современники», III, стр. 352, сл.): «Письма Пушкина чаруют меня попрежнему — семейная мина Пушкина так же хороша, как поэтическая и жизненная вообще его мина. Я имею слабость любоваться ею и хотел бы, чтобы кто-нибудь из знающих поговорил о ней серьезно и умно».

Академик Л. Н. Майков высказал (мимоходом) несколько наблюдений о письмах Пушкина, сохраняющих значение до сих пор («Пушкинский сборник», 1899, стр. VI, сл.).

«Те из них, которые писаны к жене или друзьям, отличаются горячностью чувства, задушевностью, порывистой откровенностью и нередко блеском остроумия: письма же, обращаемые к лицам официальным или мало знакомым, по преимуществу, носят на себе печать ясности и благородной простоты выражения. Пушкин умеет в них быть приветлив и приятен, отменно учтив и даже, когда нужно, почтителен, но решительно никогда не впадает в приторную любезность и всегда умеет избежать сухости — если только не ставит себе целью быть сухим».

Интересные наблюдения высказал также Сиповский («Памяти Л. Н. Майкова») о настроенности Пушкина по отношению к своим адресатам.

«Особенность этих писем заключается в том, что образ поэта в них меняется в зависимости от того, кому он пишет, меняется до неузнаваемости, до слияния с образом корреспондента: с литератором он литератор, с политиком политик, со сплетником сплетник, с гулякой гуляка, и ничего более. Положительно нельзя поверить, что все эти письма писаны одним лицом!

И стоит вчитаться в них, всмотреться — и мы сможем по этим письмам воссоздать характеристики тех, кому они были отправлены! Какой, например, прекрасной, серьезной и добродетельной женщиной рисуется Осипова, окруженная неизменным уважением поэта. Каким легкомысленным эгоистом представляется брат поэта, «милая пустельга».

Все эти случайные импрессионистические и не лишённые преувеличений наблюдения нуждаются в серьезной научной проработке, которая даст несомненно очень ценные результаты.

Однако очень немного сделано для сколько-нибудь научного анализа высказанных общих впечатлений. Г. О. Винокур положил начало изучению эпистолярного стиля Пушкина в его этапах («Культура языка», 1925, стр. 179, сл.). Настоящая статья не претендует на сколько-нибудь полный охват этой сложной и значительной темы. Это лишь предварительная разведка.

1

Пушкин в молодости любил писать обиняками и перифразами; это было отчасти влияние Арзамаса. Так, например, в письме к А. И. Тургеневу от 9 июля 1819 г.:

«Очень мне жаль, что я не простился ни с вами, ни с обоими Мирабо. Вот вам на память послание Орлову; примите его в ваш отеческий карман, напечатайте в собственной типографии и подарите один экземпляр пламенному питомцу Беллоны, у трона верному гражданину. Кстати о Беллоне — Вы были пажом Собольевского. Вспомните о нем и, как кардинал-племянник, зажмите рот доктору теологии Кавелину, который добивается в инквизиторы. Препоручаю себя вашим молитвам и прошу камергера Дон Базиле забыть меня по крайней мере на три месяца.»

«Оба Мирабо» здесь — два брата А. И. Тургенева, Н. И. и С. И. Тургеневы, известные своими либеральными настроениями. «Питомец пламенный Беллоны, У трона верный гражданин» — стихи из послания Пушкина к гр. А. Ф. Орлову, относящиеся к нему. «Кстати о Беллоне» — Пушкин переходит к войне, которую ведет Кавелин (директор Университетского пансиона, где учился Собольевский) против Собольевского. «Кардинал» — А. И. Тургенев, занимавший в это время пост директора департамента духовных дел. Кавелин называется «доктором богословия» потому, что преследовал Собольевского за какие-то проступки в отношении церковной службы или уроков богословия. За эти преследования ему дается здесь и название инквизитора. Старинная формула обращения к духовным лицам «Препоручаю» и т. д. адресована Тургеневу также

по его должности. В другом письме Пушкин, говоря о нем, называет его «его преосвященством». «Камергер дон Базиле» — может быть тот же Тургенев, имевший звание камергера; однако имя «дон Базиле», персонажа «Севильского цирюльника», лукавого угодника, не очень подходит к покровителю Пушкина и приятелю его отца; поэтому предполагается, что «камергером дона Базиле» Тургенев называется по званию «камергера его величества», т. е. что Дон Базиле это сам Александр I. Возможно впрочем, что Пушкин здесь имеет в виду какое-то третье лицо — формально сочетание 2-го лица («вашим молитвам») с 3-м в той же фразе вряд ли возможно в отношении того же человека.

В том же перифрастическом стиле написано и письмо от 21 августа 1820 г. к С. И. Тургеневу:

«Поздравляю вас с благополучным прибытием из Турции чужой в Турцию родную. С радостью приехал бы я в Одессу побеседовать с Вами и подышать чистым европейским воздухом, но я сам в карантине, и смотритель Инзов не выпускает меня, как зараженного какой-то либеральной чумой. Скоро ли увидите вы Северный Стамбул? Обнимите там за меня милого нашего муфти Александра Ивановича и мятежного драгомана брата его. Его Преосвященству писал я...» и т. д.

«Турция родная» — Россия, с ее «азиатщиной» и деспотизмом. «Чистый европейский воздух» Одессы противопоставляется здесь азиатскому Кишиневу («В Одессу переехал я, как из Азии в Европу» писал Пушкин позднее). Наместник бессарабский, генерал-лейтенант Инзов, к которому был прикомандирован Пушкин из Петербурга, называется «смотрителем», а Кишинев «карантином» потому, что Инзов не отпускал Пушкина в Одессу так легко и часто, как хотелось бы поэту. Инзову было рекомендовано следить за Пушкиным и подавлять в нем вольнодумство. «Северный Стамбул» — Петербург, столица «родной Турции». Соответственно этой «турецкой» маскировке А. И. Тургенев называется титулом мусульманского духовного лица, а брат его Н. И. Тургенев, горячий поборник конституционного правления, — переводчиком с восточных языков на европейские.

Таков же стиль в письме к Мансурову от 27 октября того же года.

«Зеленая Лампа нагорела — кажется гаснет, а жаль — масло есть (т. е. шампанское нашего друга)».

Но здесь вероятно, сказались и конспиративные соображения. Кружок «Зеленой лампы», сочетавший веселое и вольное времяпровождение с вольнодумством и являвшийся филиалом «Союза благодетствия», был до некоторой степени тайным. «Наш друг» — Всеволожский, у которого кружок обычно собирался; поэтому Пушкин избегает называть здесь его фамилию.

Сами собой понятны фразы в письме к Вяземскому от апреля 1820 г.:

«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих. Авось полуденный воздух оживит мою душу».

Эти строки писаны в дни, когда первая угроза ссылки поэта (в Сибирь или Соловки) казалась устроченной и можно было рассчитывать на успех хлопот Карамзина, ходатайствовавшего о позволении

Пушкину уехать в Крым с Раевским. Но дело было решено только через две недели и, как известно, не столь благополучно для поэта.

Редкий случай намека при полном умолчании лица, о котором заходит речь, представляет конец письма Пушкина к Гнедичу от 27 июня 1822 г.:

«Здесь у нас молдаванно и тошно; ах боже мой, что-то с ним делается — судьба его меня беспокоит до крайности».

«Молдаванно и тошно» представляет парафразу шутливого стиха Пушкина «и кюхельбекерно и тошно», так что Гнедич, знавший его выражение, мог догадаться, о ком вспомнил поэт. Такой неожиданный переход вряд ли можно объяснить просто непосредственной внезапностью этого воспоминания; письма к Гнедичу Пушкин писал обычно обдуманно (с черновиками); к тому же выражение беспокойства делает это заявление поэта знаменательным. Известно, что в это время Кюхельбекер, высланный из Парижа, находился в деревне почти что в ссылке, и прямой переписки между ними не велось, чтобы друг друга не компрометировать¹. Что Пушкин часто мог опасаться перлюстрации своих писем, явствует из его обращения к Вяземскому в письме от 20 декабря из Одессы:

«Нельзя ли в переписке нашей избежать как-нибудь почты. Я бы тебе переслал кой-что слишком для нее тяжелое. Сходнее нам в Азии писать по okazji».

Парафразы его могли иметь иногда целью сбить с толку непрошенного читателя. Любопытно в этом отношении, что этот вопрос Пушкина «сбил с толку самого Вяземского, который понял его без задней мысли. Пушкин же, вероятно, хотел переслать Вяземскому «Гавриилиаду». Возможно, что ему хотелось высказаться по поводу отношения к нему Воронцова — позднее он также ждет okazji, чтобы написать о своей ссоре с ним. Но Вяземский не понял парафразы (а может быть только сделал вид — для отвода непрошенных глаз?); Пушкин объясняет в следующем письме:

«Ты не понял меня, когда я говорил тебе об okazji. Почтмейстер мне в долг верит, да мне не верится».

Однако даже с okazjiей, имея возможность писать брату «спустя рукава», Пушкин прибегает к парафразе — впрочем предмет того зашлуживал.

«Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске через его министров, и два раза воспоследовал всемилоостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь становится мне невтерпез».

«Иван Иванович» Пушкин употребляет иногда в шутку при фамилии известных французских писателей («Иван Иванович Расин», «Иван Иванович Пярни»). Здесь же это имя означает царя. Пушкин просил министра

¹ «См. статью Ю. Н. Тынянова, Пушкин и Кюхельбекер («Литературное наследство», т. 16/18).

иностранных дел, по ведомству, которого продолжал числиться, о позволении приехать в Петербург, хотя бы на самое короткое время, но получил отказ. «Такому-то» — Александру. Упоминание, что дворец находится против крепости, передает, конечно, мысль, что с царем иметь дело опасно. Отсюда переход, что не разумнее ли просто бежать из родной Турции — в чужую.

Знаменательные недомолвки делает Пушкин в письме к Вяземскому от 7 июня 1824 г. по поводу идеи Вяземского объединиться в сильную независимую литературную группу и предпринять свой журнал:

«Нет, душа моя, отложим попечение — далеко кулику до Петрова дня, а еще дале (нам) Бабушке до Юрьева дня!»

Первая поговорка говорит, пожалуй, только о том, что русские писатели еще «не доросли» до такого объединения, о котором стоило бы мечтать, вторая же намекает скорее на политическую обстановку, до перемены которой еще далеко. Так как «Юрьев день» по пословице означает неприятную неожиданность (потерю возможности или права), то может быть, потому Пушкин и заменил первоначальное «нам» пословичным «бабушке».

В письме Вяземскому, посланном от конца июня 1824 г. с оказией, Пушкин опять пользуется обиняками — и также не зря. Речь идет о споре с Воронцовым. Поэт сообщает, что подал заявление об отставке; и продолжает:

«Тиверий рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня».

«Тиверий», жестокий и подозрительный римский император, это конечно, Александр. «Сеян», всесильный временщик при Тиверии, названный здесь графом для уточнения, — граф Воронцов.

В одном из позднейших писем Пушкин именует Воронцова «милордом Уор», т. е. Уоронцовым, пародируя английское произношение имени своего врага-англомана.

В Михайловском Пушкин пишет целый ряд писем Рокотову (соседу), к А. Н. Вульффу и брату по поводу какой-то коляски, которую то предполагается продать, то послать и т. п.

«Я бы поставил себе долгом послать вам мою коляску, но сейчас у меня нет лошадей в моем распоряжении. Если вы имели бы любезность послать за нею, она к вашим услугам. Что касается цены, то я хотел бы ее продать, как я имел честь вам сказать, за 1 500. Впрочем я полагаю на решение г-на вашего брата» (Рокотову, осень 1824 г., перев. с франц.).

«Друзья мои и родители вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтобы он в ней ко мне приехал и потом уехал и опять прислал бы назад эту бедную коляску. Вразумите их. А об коляске сделайте милость напишите мне два слова: что она? где она? и т. д.» (Вульффу, август 1825 г.).

«О коляске моей осмеливаюсь принести вам нижайшую просьбу. Если (что может случиться) деньги у вас есть, то прикажите, наняв лошадей, отправить ее в Опочку. Если же (что также случается) денег

нет, то напишите, сколько их будет нужно. (На всякий случай поспешим, пока дороги не испортились) (Вульфу, 10 октября 1825 г.).

Комментаторы полагают, что речь идет о реальной коляске, которую Пушкин мог купить в Одессе специально, чтобы отправиться в Михайловское, когда получил распоряжение о ссылке. Думается, что это мало вероятно. Пушкин был не такой неженка, чтобы не мог приехать в Псковскую губернию в почтовой бричке. К тому же вряд ли он был в состоянии истратить на такую покупку свыше 1500 руб. Известно, что друзья собирали ему деньги для выезда, а наверное у него было немало долгов, с которыми, уезжая, необходимо было расплатиться. Да и «ветренный юноша» Рокотов вряд ли нуждался в щегольской коляске. Между тем, Анненков (со слов самого Вульфа) передает, что «Пушкин и Вульф положили учредить между собою символическую переписку, основанием которой должна была служить тема о судьбе коляски, будто бы взятой Вульфом для переезда (в Дерпт), на самом же деле речь шла о побеге Пушкина за границу». Конечно, письмо Рокотову написано почти годом ранее, чем письмо Вульфу, но известно, что Пушкин уже тогда предпринимал шаги к организации такого побега. 12 ноября 1824 г. Осипова, помещица соседнего Тригорского, принявшая горячее участие в тягостном положении Пушкина, писала Жуковскому — также обиняком и парфразами.

«Желательно было бы, чтобы ссылка его скоро кончилась, иначе... я боюсь быть нескромной, но желала бы, чтобы вы меня угадали. Если Александр должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас, русских, его талант, его поэтический гений — и обвинять его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, и здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в пламя. — Все здесь сказанное — не пустая догадка. Если вы думаете, что воздух и солнце Франции полезен для русских орлов, и оный не будет вреден нашему, то пускай останется то, что теперь написала, вечной тайной. Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет».

Наконец Рокотов, как видно из дальнейшего, пользовался доверием Пушкина. Вскоре после письма к нему о коляске поэт посылает с ним конфиденциальное письмо брату с каким-то нозлем, и затем с беспокойством пишет Льву Пушкину: «получи это письмо непременно; ветренный юноша Р. может письмо затерять, а ничуть не забавно мне попасть в крепость за песенки». В том же письме Пушкин писал брату: «Вульф здесь, но я ему ничего еще не говорил (о проекте побега); но жду тебя — переговориться нужно непременно», и умоляет как угодно расправиться с «Онегиным» — «долго не торгуйся, режь, рви, кромсай, но денег, ради бога денег!», — очевидно с той же целью побега. Наконец, явно лицемерные строки (для отвода любопытных глаз) и тут же довольно откровенные поручения:

«Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда будешь у меня, то станем толковать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться».

Очевидно Лев должен был навести справки о возможности перевода денег через какое-нибудь доверенное лицо, о способах наладить переписку и об адресе Чаадаева, который в это время находился в Швейцарии. Из этих поручений можно предположить, что поэт считал фактическую сторону бегства уже достаточно обеспеченной. Может быть нечто условное означает и приписка Пушкина в письме к брату же, через несколько дней:

«Да пришли мне кольцо, мой Лайон (Лев)».

Вульф предлагал Пушкину вывезти его за границу под видом слуги. Это было легче сделать из Дерпта, где он учился в университете. Поэтому Пушкин, пользуясь своим заболеванием (расширением вен на ногах), стал проситься на лечение в Дерпт, ссылаясь на серьезный «аневризм»; Жуковский, приняв просьбу за чистую монету и обеспокоясь, снесся с дерптским хирургом Мойером, с которым был хорошо знаком, и получил от него согласие приехать к Пушкину в Псков или даже в Михайловское. Это и передает поэт Вульфу условным языком: «теперь послали мою коляску к Мойеру» и т. д., настаивая на прежнем плане и повторяя его опять в письме к нему от 10 ноября.

Бегство не осуществилось за неимением денег. Лев Пушкин, который взял на себя литературные дела поэта, обещая ему к осени 15 000 руб., не выполнил своего обещания, может быть потому, что этому помешали друзья поэта (летом Плетнев сообщил Жуковскому свое подозрение, что Пушкин хочет иметь 15 000 руб., чтобы иметь способы бежать с ними в Америку или Грецию. «Следственно не надо их доставать ему», заключает он).

Другой условной темой, которой маскировались какие-то организационные шаги, направленные к тому же, было издание сочинений Пушкина в Дерпте, которое будто бы должен был предпринять Вульф. Это подтверждает Анненков со слов того же Вульфа. Эта условная тема фигурирует в письме к Вульфу от конца августа 1825 г.:

«Я не успел благодарить вас за дружеское старание о проклятых моих сочинениях. Чорт с ними, и с цензором, и с наборщиком и со всеми прочими. Дело теперь не о том».

И Пушкин с досадой сообщает о наивном вмешательстве Жуковского и спрашивает о судьбе коляски. Можно думать, что тема издания означала организацию второго этапа — пребывания в Дерпте и выезда оттуда за границу.

Очень любопытный образец другого рода маскировки представляет письмо Пушкина Жуковскому, написанное (по поводу разрешения проехать в Псков лечиться) как бы с тем, чтобы верный ходатай поэта мог показать его царю. Под личиной добродушия и доверия к великодушью царя оно таит довольно едкую и дерзкую иронию:

«Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство во Пскове. Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге о лечении лошадей. Несмотря на все это, я решил остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя

отеческую снисходительность его величества. Боюсь, чтобы медленность моя пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность?

Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне современем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства»

Напротив, письмо к Жуковскому от 7 марта 1826 г., действительно предназначенное быть показанным царю (уже Николаю), было далеко не так удачно: лицемерить Пушкин никогда не умел.

Изложив обстоятельства своей ссылки в Михайловское, Пушкин заключал:

«Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно протипворечить общепринятому порядку и необходимости».

Препровождая это письмо Плетневу, сам Пушкин говорил, что оно одето «в треугольной шляпе и в башмаках». Но это письмо, конечно, никак не годилось для показывания царю, и Жуковский с неудовольствием отвечает ему: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое? Если оно только ко мне, то оно странно. Если ж для того, чтобы его показать, то безрассудно».

2

Замечательно, что в письмах Пушкина почти никогда нет никаких поправок — не только в дружеских письмах, которые он мог писать не задумываясь и не спохватываясь, но даже и в серьезных деловых и официальных. Чуть ли не единственный пример представляет письмо к брату от 27 марта 1825 г., где написанная было фраза «не напечатать ли в конце Воспоминания в Ц. С. с нотой, что они писаны мною 14 лет и с выпискою из моих записок (об Державине), ась?» зачеркнута с припиской «нет».

Несомненно, что во многих случаях необходимо допустить существование черновиков, которые не сохранились. Действительно, имеются черновики некоторых писем к Вяземскому (№№ 76, 907, 107, 150, 279), Плетневу (№ 46), которые, казалось бы, ничем не отличаются от других, черновики которых отсутствуют. Можно думать, что Пушкин — благодаря своей ранней славе, своему поднадзорному положению и, наконец, высокой культуре писем в ту эпоху — довольно тщательно относился к своим письменным беседам с друзьями как на литературные, так и на личные темы, зная, что их могут огласить, во всяком случае в кругах, с которыми он был связан. Он должен был поэтому взвешивать свои высказывания. С другой стороны, и с юга и из Михайловского он писал нередко людям, с которыми вовсе еще не был интимно близок, как Бестужеву, Плетневу, Рылееву, даже Вяземскому. Между тем это были

писатели, следовательно, знатоки и критики. Все это требовало продуманности.

Любопытно, что часто черновики имеют вид конспекта, с сжатými фразами и сокращенными словами, например, к письму Вяземскому от 1 сентября 1828 г. (№ 279) или Погодину от сентября 1832 г.

«Какую программу хотите вы видеть? Часть полшт-иностр. известия переведенных из J. de st. Pet.— без прав. примеч. и размышл.» и т. д.*

Иначе говоря, это — сознательные черновики, а не просто неудавшееся письмо, которое переделывается и переписывается уже набело.

Характерно также, что черновик редко бывает у Пушкина очень «черным», зачеркиваются отдельные немногие слова, выражения, начала фраз. Можно смело сказать, что сильно перечеркнутый черновик письма у Пушкина исключение, почти всегда связанный с сильным волнением. Таково чершовое письмо к Бенкендорфу, написанное во второй половине августа 1828 г., когда Пушкин был расстроен неожиданно взятой с него полицейской подпиской о том, что он обязуется впредь ничего не печатать и не распространять без предварительного одобрения цензуры (это было результатом расследования и суда по делу о стихотворении «Андрей Шень»). Так обернулось менее чем через два года «всемилодивейшее» заявление царя: «я сам буду твоим первым ценителем и цензором». Немудрено, что Пушкин был оскорблен и взволнован очень глубоко. И это и отразилось в черновике:

«(по требованию) (Вследствии Высочайш)

Г. Обер-пол. (затребовал) требовал от меня подписки в том что — я впредь без предварительной цензуры (я дал) повинуюсь священной для меня воле. Тем не менее прискорбна мне сия мера (Позволь) (Осмеливаюсь просить у Вашего Превосх.) Госуд. Имп. изволил в минуту для меня незаб. освободить меня от цензуры (и дал честн. слово Государю (котор.) которому надеюсь не изменил и не изменю по гроб) (не только из явного благоразумия) но (которому изменить я не могу (не быв) не говоря уже (о том, что) уже о чести»¹ и т. д.

Не менее взволнованное состояние обнаруживает черновик письма к князю Репнину по поводу сплетен, которые будто бы распускал насчет Пушкина некий Боголюбов:

«(С сожалением) (с большим) сожалением я (вижу себя обязанным) (я обязан) я вижу себя вынужденным обеспокоить В. Прев.— (но) (я вынужден к тому) (но я к тому повелительно) (но повелительно голосом чести и долга). Но как дворянин и отец семейства я должен блюсти о своей чести и об имени, которое я должен оставить моим детям.

Негодяй, по имени г-н Бологубов² недавно повторял в кафе (оскорбительные для меня) гнусные сплетни, ссылаясь (на ваше имя) (на,

¹ В издании Писем Пушкина Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 53, это письмо датировано второй половиной августа. Думается, что состояние черновика позволяет допустить дату 19—20 августа, немедленно после отображения подписки.

² Фамилия обидчика вызывает, повидимому, такое раздражение у поэта, что он не может написать ее правильно; дальше он пишет «Боголюбов».

на ваше имя (и на основании) (Я имею убеждение) Я не имею чести быть лично известным (вам) (никогда) я (не думал вас оскорбить) не только никогда вас не оскорбил» и т. д.

Подобное же волнение обнаруживает и черновик письма к Жуковскому от 29 ноября, по поводу тяжелой ситуации, в которой оказался поэт в Михайловском, где отец взял на себя обязанность следить за ним и доносить на него. В результате ссоры Пушкин написал губернатору, прося перевести его в крепость, а отец обвинял его в намерении побить его.

«Я сослан за одну строчку глупого письма. Ежели (дойдет до) обяя Пра что я поднял руку на отца! (какое мне спасение) посуди как там обрадуются (Это) пахнет палачом и (Сибирью) каторгой. Мать согласна была с отцом (мать моя). Теперь (она) она говорит: да он осмелился непристойно размахивать руками (что же) дело десятое (я сказал им, что буд) Да он убил отца словами — это каламбур и только (мать меня обняла). Отец говорит: Да он бы еще (дер) (меня) меня прибил. Зачем же было обвинять (меня) в злодействе несбыточном?»

Беловое письмо ясно показывает, что Пушкин успокоился: оно совсем другого тона и строения, хотя на первый взгляд и кажется, что те же самые фразы, беспорядочно брошенные в кучу, теперь только расставлены по местам.

«Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу: но что мне было делать. Я сослан за строчку глупого письма. Что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца. Это пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: да он бы еще осмелился меня бить. Да я бы связать его велел! — Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? Да как он осмелился непристойно размахивать руками? — Это дело десятое. Да он убил отца словами. Каламбур и только. Воля твоя, туг и поэзия не поможет».

Дальше идет уже о другом:

«Что ж, милый. Будет ли что-нибудь для моей маленькой гречанки? Дочь героя, Жуковский. Они родня поэтам по поэзии. Но полу-милорд Воронцов даже не полугерой. — (Получил я вчера письмо от Вяземского уморительно смешное».

А вот что стояло здесь в черновике:

«(Милый, чем далее живу, тем больше вязну в) Стыжусь что доселе не имел духа исполнить пророческую весть (которая) (что) что разнеслось недавно обо мне (и еще не застрел.) (Увяз я в) (стыдно) Глупо нас от часу далее вязнуть в жизненной грязи, ничем к ней не привязанный»).

Контраст довольно разительный. Но если оставить в стороне окончание письма, то формально — как будто те же фразы, только приведены в порядок. Но этот порядок придает даже оттенок юмора, отводит сцену в прошлое, делает ее воспоминанием, лишая актуальности и возбуждения. И тем самым живой порыв речи, почти бессвязный крик становится словом, литературой. Аналогия с творческим процессом очевидна. Имеется даже некоторая «сюжетная» переделка, сосредоточивающая и усиливающая композицию: мать устранена, ее реплика даже

передана отцу. Это очень любопытный пример художественной обработки жизненного факта.

Так же перемазаны и некоторые черновики письма Пушкина, связанные с драмой, которая привела его к гибели: письмо к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г., январская редакция письма к Геккерну, записка к секунданту Дантеса, писанная утром в день дуэли.

Почти с тем же трудом даются поэту черновики писем, вызывающие внутреннее сопротивление его самого, когда он, повидимому, никак не может подобрать подходящие слова. Таково его письмо к родителям по поводу своего сватовства, когда ему пришлось просить у отца материальной помощи, что он делал, очевидно, с большой неохотой. Начальная фраза повторена дважды:

«Я обращаюсь к вам в минуту, которая (решит) (определит) остаток моей жизни. Я обращаюсь к вам в минуту, которая определит мою судьбу на остаток моей жизни (Вот уж год) (Вот уж) (я хочу жениться на молодой особе; которую люблю в течение года) Девица Г. которую вы имели) (Девица Наталья Гонч.) (Это девица Гонч.). Я имею ее согласие» и т. д. И в конце:

«(Я имею согласие) (состояние г-жи Г.) представляет единственное возражение (состояние г-жи Г.) будучи (является очень расстроенным и зависимым) а мое (она должна была мне) (Я имею согласие девицы Гонч.) (Я имею) и зависимым от» и т. д.

Такой же характер имеет и письмо к деду невесты, которое Пушкин писал с той же целью и, повидимому, с тем же отвращением и, не выдержав, выпустил в беловике всякий намек на это намерение. Таковы же некоторые письма к Бенкендорфу, в которых поэту приходилось обращаться с тягостными для него просьбами.

3

Над некоторыми письмами Пушкин работал особенно тщательно, возвращаясь к ним несколько раз. Таково, например, известное письмо к Дельвигу (конца 1824 г.) с описанием пребывания в Крыму, рассчитанное, повидимому, на опубликование¹. Несомненно — литературный характер этого письма побудил даже включить его в «Российскую хрестоматию или отборные сочинения отечественных писателей в прозе и стихах» 1833 г., а затем и в школьную хрестоматию Беррара 1840 г. Это письмо по форме своей — путевой очерк или глава из записок. Пушкин даже отбросил первоначальное вступление, содержащее личную мотивировку письма, обращение и личные высказывания. Оно глаголю (в скобки заключено исправленное в первой и второй редакции):

¹ В пушкинской литературе нет указания, почему Пушкину вздумалось написать подобное письмо Дельвигу: оно было напечатано последним только в его альманахе на 1826 г., но судя по тому, что Дельвиг писал Пушкину 10 октября 1824 г. о переиздании «Бахчисарайского фонтана», можно предположить, что поэт намерен был приложить его к этой поэме в качестве предисловия; во всяком случае он приложил его впоследствии к 3-му изданию поэмы.

«(Я прочел) Путеш, по Тавр прочел я с (гладкостью и) чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время (с) как и И. М. (Не помню). (Жалею очень) Очень жалею (как) что мы не встретились (Но это им глубокое) Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки (коих, оных) надобно потребны (глубокие) обширные сведения самого автора: Но знаешь ли, что более всего поразило (в) меня в этой книге. Различные наших впечатлений; (кажется) помнится (я писал тебе из Камчатки о Кавказе и Тавриде, как говорится сгоряча, если письмо мое сохранилось до сего. Жалею) (Сколько упомяну). Посуди сам».

Это чисто эпистолярное, личное начало в окончательной редакции отброшено. Впрочем, нечто в этом роде представляет и предисловие к «Путешествию в Арзрум»:

«Недавно попалась мне в руки книга... Из поэтов, бывших в турецком походе, я знал только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича... Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне... и т. д., и даже начало «Рославлева»:

«Читая «Рославлева» с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести».

Во всех этих случаях автор отталкивается от книги, лично его задевающей и побуждающей его писать. Любопытно, что Пушкин убрал из начала своего письма (еще в черновой редакции) ссылку на старое свое письмо 1820 г. с описанием своей поездки; эта ссылка подчеркивала эпистолярность, которую Пушкин собирался сначала лишь затушевать, а затем и совершенно выгравить из своего письма. Любопытно, что и в дальнейшем это письмо несколько напоминает по тону «Путешествие в Арзрум»:

«...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом двести верст, зато увидел *** (Ермолова).. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома..

... Я своротил на прямую Тифлискую дорогу, жертвуя хорошим обедом в Курском трактире (что не безделица) и не' любопытствуя посетить *** (харьковский университет, который не стоит курской ресторации) —

.. Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее.

Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал

берегом Подкумка... Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими «вассалами»...

«Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатovu гробницу: там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял его без всякого сожаления. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. «Вот Четырдаг» сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Всю ночь не спал; луны не было. звезды блистали передо мною в тумане, тянулись полуденные горы».

Естественны, конечно, сближения в описательном стиле путевого очерка. Но здесь и самый ход изложения тот же, и даже тот же тон — снисходительно-насмешливый — человека, пресыщенного всем, несколько

рисующегося равнодушием к достопримечательностям и красотам и желающего видеть мир «в его наготе». Это как будто отрывок из «Путешествия Онегина». Какая разница с описанием той же поездки в письме к брату 24 сентября 1820 г., тоже очень отработанным! Там речь гладкая, округлая, несколько даже торжественная и не чуждая ярких красок, и притом адресованная.

«Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные — Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и подвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту.— Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением» и т. д.

Наверное и над этим письмом Пушкин работал немало. Но черновики к нему не сохранились.

Другой важный вид письма — критический — представлен лучше всего так называемым письмом к Раевскому о «Борисе Годунове» от 30 января 1829 г. с черновиком (русские черновые письма на ту же тему во всяком случае адресованы не Раевскому). За исключением начальных фраз (и двух-трех построений во втором лице в первом русском черновике) это — критические статьи или предисловия к трагедии. Настоящими критическими письмами, напротив, являются письма к Бестужеву (например, о «Горе от ума» от января 1825 г., о статье Бестужева «Взгляд на русскую словесность», напечатанной в «Полярной звезде» за 1825 год), Гнедичу (о «Кавказском пленнике»), Виземскому (о «Нарвском водопаде» его) и др. Так называемое письмо к Плетневу от октября 1829 г. (о «Полтаве») не имеет ничего от письма, кроме разве творческих признаний поэта.

Наконец, образцами политического письма могут служить письма о греческом восстании (предположительно к В. Л. Давыдову). Первое, написанное в пору увлечения поэта и под влиянием первоначального энтузиазма, интересно работой, проделанной над черновиком. Эта работа показывает, как Пушкин сознательно повышал стиль своего изложения соответственно важности и величию события. Вот ряд типичных примеров: «Греция взбунтовалась» заменено «восстала», «Некто Владимирско» — «Теодор Владимирско» (некто — неуважительно), с «несколькими» или «с толпой» — «с малым числом», «объявил себя начальником города» — «принял начальство города», «восстанет» — «воспрянет». Любопытно, что чем дальше, тем меньше этих повышений первоначальных значений слов, — очевидно Пушкин в процессе писания и сам воодушевлялся. Это письмо также не имеет ничего эпистолярного и если бы не обращение «Уведомляю тебя о происшествиях» и т. д. и не фраза «Ты видишь простой ход и главную мысль» и т. д., было бы огульной страницей записок. Этому впечатлению способствуют заметки «странная новость со стороны европейского генерала» (по поводу казни семи турок князем Ипсиланти) и «Странная картина», создавая сходство этого письма с некоторыми

записями Пушкина в «Дневнике», а отчасти с отдельными его записями 1831 г.

Следует выделить также письмо к Чаадаеву от 6 июля 1831 г. о «Письмах по философии истории» последнего; по серьезности затронутых в нем вопросов оно заслуживает особого внимания, несмотря на свой небольшой объем.

Но больше всего усилий потратил Пушкин, конечно, на свое знаменитое письмо к Геккерю, ставшему непосредственной причиной дуэли и смерти Пушкина. Он писал его в течение двух с половиной месяцев — возвращаясь к нему в общей сложности шесть раз, не говоря о первоначальном черновике, который не сохранился, и о копии, которую поэт сделал потом собственноручно. Изменения этого текста передают поэтому не только работу Пушкина над самим письмом, но и перемену обстановки и намерений Пушкина. Сквозь эти изменения, как бы поверх их, можно видеть литературную работу Пушкина. Конкретные биографические моменты, личные признания, житейские факты устраняются, обобщаются, или возводятся к объективному плану, изложение сокращается, сжимается, сосредоточивается, слог становится энергичнее, тверже, ход речи резче и стремительнее.

«Поведение г-на вашего сына было мне (вполне) известно (издавна) и не могло быть мне безразличным (но как оно удерживалось в границах приличий и, к тому же, я знал (до какой степени) насколько моя жена заслуживала моего доверия и уважения) я довольствовался ролью наблюдателя, чтобы вмешаться, когда я сочту к стати. (Я знал хорошо, что красивое лицо, безнадёжная страсть, постоянство двух лет в конце концов должны произвести некоторое действие на сердце молодой особы, и что тогда муж, если только он не глупец, станет совершенно естественно поверенным жены и хозяином ее поведения. Признаюсь вам я был не без тревоги). Происшествие которое во всякий другой момент было бы мне весьма неприятно, явилось счастливо мне на выручку. Я получил анонимные письма. Я увидел, что момент наступил, и я им воспользовался».

Вычеркнутое взято здесь в круглые скобки. Пушкин ограничился исключением ряда признаний, служивших как бы объяснением его невмешательства, но ослаблявших энергию изложения, и уже своим характером оправдания допускаящих какую-то долю вины за женой. Результатом этого получился слог, можно сказать, «новелистический», слог пушкинских повестей. Вот еще характерное место: «2 ноября вы имели от г-на вашего сына новость, которая доставила вам большое удовольствие, он вам сказал, что я подозреваю истину, что жена моя боится разоблачения и теряет голову. Тогда вы решили нанести окончательный удар. 4-го я получил три экземпляра анонимного письма из числа тех, что были распространены».

Во второй редакции это место получило следующий вид:

«2-го ноября, после одного разговора, вы имели с г-ном вашим сыном совещание, где было решено нанести окончательный удар. Вами было составлено анонимное письмо и 4-го я получил три экземпляра такового».

Изменения здесь совершенно понятны. Письмо было рассчитано на возможность его оглашения, и интимные признания о семейном разладе были, конечно, при этом неуместны. Первоначально Пушкин, очевидно, увлекся стремлением показать, что он хорошо разобрался в интриге подлого пасквильанта, дальше он не без злорадного удовлетворения говорит о том, что ему известны все действия его врагов.

Письмо это является совершенно исключительным, беспримерным в эпистолярной литературе (не только русской даже, пожалуй) по совершенству формы и силе вложенной страсти. Это письмо едва ли не самое замечательное по форме и мастерству. Оно кажется даже холодным — по строгости изложения, шлифованности слога и любезности выражений — холодным, как отточенный кинжал. Противоположность этой холодной, точной и точеной форме пламенной ярости, раскаляющей ее изнутри, производит совершенно особенное впечатление и делает это произведение Пушкина настоящим шедевром.

Среди писем Пушкина очень много замечательных — и по-разному замечательных, одни — своей литературной стороной, другие богатством мысли, третьи блестящим остроумием, четвертые живостью изображения момента и обстановки, пятые чувством, которое в них передается, и т. д. Многие из них являются настоящими литературными произведениями. Но, пожалуй, наиболее своеобразными, самыми пушкинскими являются те его письма, которые он пишет наиболее непринужденно, непосредственно и с одним намерением побеседовать, как многие письма к друзьям и почти все письма к жене. В них и Пушкин, как собеседник и как человек, выявляется наиболее ярко.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
В Т О Р А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т

1 9 • Ф Е В Р А Л Ь • 3 7